

Йозеф Рот
Берлин и окрестности

Йозеф Рот

Берлин и его окрестности

«Ад Маргинем Пресс»

2013

УДК 821.112.2(436)-31 Рот Й.
ББК 84(4Авс)-44

Рот Й.

Берлин и его окрестности / Й. Рот — «Ад Маргинем Пресс»,
2013

ISBN 978-5-91103-773-4

В сборник очерков и статей австрийского писателя и журналиста, составленный известным переводчиком-германистом М.Л. Рудницким, вошли тексты, написанные Йозефом Ротом для берлинских газет в 1920–1930-е годы. Во времена Веймарской республики Берлин оказался местом, где рождался новый урбанистический ландшафт послевоенной Европы. С одной стороны, город активно перестраивался и расширялся, с другой – война, уличная политика и экономическая стагнация как бы перестраивали изнутри его жителей и невольных гостей-иммигрантов. Динамическая картина этого бурлящего мегаполиса, набросанная в газетных колонках Йозефа Рота, и сегодня читается как живой репортаж о жизни города, который опять стал местом сопряжения различных культур. Писатель создает галерею городских типов и уличных сценок, чем-то напоминающих булгаковскую Москву, где место фантастики занимают наблюдательность и уникальный берлинский стиль. Издание сопровождается архивными фотографиями.

УДК 821.112.2(436)-31 Рот Й.

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-91103-773-4

© Рот Й., 2013

© Ад Маргинем Пресс, 2013

Содержание

От составителя	6
Часть 1	10
Небоскреб	10
Философия паноптикума	14
Педагогическая витрина	19
Присягаю берлинскому треугольнику[7]	20
Совсем большой магазин	22
Куклы	24
Архитектура	27
Новая стиральная машина	30
Отчий дом	33
Часть 2	36
Вокруг колонны Победы	36
Парк Шиллера	38
Месяц май	41
В канцеляриях	44
Берлинское новогодье и последующие дни	46
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Йозеф Рот
Берлин и окрестности
Сборник. 2-е издание

* * *

© М. Рудницкий, перевод с немецкого, состав, предисловие, 2013

© Galerie Volker Diehl, Berlin, иллюстрации, 2013

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013, 2024

От составителя

Взяв в руки эту книгу, иной читатель, знакомый с творчеством Йозефа Рота, возможно, не понаслышке¹, удивится: «Смотри-ка, этот великий романист, оказывается, еще и в газеты пописывал!» Аналогичным образом, хотя и в противоположном смысле, наверняка удивлялись и иные из современников Рота, беря в руки его очередной, только что вышедший роман: «Смотри-ка, этот знаменитый журналист еще и романы успевает писать!» Ибо тогда, при жизни, журналистская слава Рота намного превосходила его популярность писателя, чему, пожалуй, удивляться как раз не стоит: в ту эпоху, еще до Всемирной паутины, многомиллионная армия читателей газет на порядок превосходила многотысячную братию книжечеев. Пожалуй, именно тогда, в 1920-х годах, существенно изменилась и сама роль газет в общественной жизни: сугубо информационная функция всё больше отходила к новому, более современному и оперативному медийному ресурсу, к радио, прессе же пришлось искать себе новое амплуа – амплуа вдумчивого собеседника, толкующего для читателя и вместе с читателем смысл того, что со временем даже и называть стали не событием, а «информационным поводом». Неспроста именно в эту пору пришли в журналистику многие знаменитые литературные имена XX столетия – чтобы не злоупотреблять перечислением, назову лишь Герберта Уэллса и Эрнеста Хемингуэя, Рафаэля Альберти, Мигеля Эрнандеса, Ромена Роллана и Анри Барбюса.

В немецкоязычной прессе в то время подвизаются едва ли не все сколько-нибудь заметные литературные фигуры, от Генриха и Томаса Маннов до Фейхтвангера, от Стефана Цвейга до Ремарка, не говоря уж о столь ангажированных, по самой природе таланта тяготеющих к публицистике авторов, как Бертольт Брехт, Леонгард Франк, Арнольд Цвейг. Но есть и выдающиеся мастера собственно газетного жанра – фельетона, очерка, эссе, именно в этом, журналистском, качестве оставившие свой след в немецкоязычной литературе – это непревзойденный венский острослов Карл Краус, пражанин Эгон Эрвин Киш по прозвищу Неистовый репортер, язвительный берлинец Курт Тухольский, с 1924 года проживающий в Париже и мечущий оттуда стрелы своих сатирических инвектив... Это безусловные звезды тогдашней журналистики, чьих статей читатели ждут из номера в номер, чьи имена вместе с анонсом злободневных сенсаций зазывно выкрикивают мальчишки-газетчики. И среди них отнюдь не в последнюю очередь звучало имя Йозефа Рота (1894–1939), одного из величайших журналистов своего времени, успевшего между делом написать еще и два десятка романов и повестей, истинное значение которых в немецкоязычной словесности будет осознано лишь после смерти автора.

Сейчас, когда творческое наследие Йозефа Рота торжественно убрано в шесть замечательно изданных томов полного собрания сочинений², каждый из которых содержит примерно по тысяче страниц убористо набранных текстов – текстов, разделившихся ровно пополам, по три тома на журналистику и беллетристику, но связанных между собой великим множеством незримых нитей, увлекательные хитросплетения которых еще предстоит изучать исследователям, – в первую очередь волей-неволей отдаешь дань изумленного восхищения столь неистовым творческой продуктивности. Лозунг «ни дня без строчки», которым иные литераторы, как известно, чуть ли не силой гнали себя к письменному столу, был для Йозефа Рота попросту нормой жизни. Второе, чему не перестает изумляться, – высочайшее литературное качество

¹ В русском переводе опубликованы следующие романы, повести и репортажи Йозефа Рота: «Отель Савой», (1924, *рус. пер.* 1925), «Бунт» (1924, *рус. пер.* 1925), «Циппер и его отец» (1927, *в рус. пер. «Циппер и сын»*, 1929), «Иов» (1930, *рус. пер.* Ю. Архипова, 1995), «Марш Радецкого» (1932, *рус. пер.* 1939, *новый перевод Н. Ман* – 1975), «Сказка 1002-й ночи» (1939, *рус. пер.* Г. Кагана, 2001), «Легенда о святом пропойце» (1939, *рус. пер.* С. Шлапоберской, 1996), сборники репортажей «Вена» (*рус. пер.* М. Рудницкого, 2016) и «Путешествие в Россию» (*рус. пер.* 2023).

² Joseph Roth Werke in 6 Bänden, hrsg. von Fritz Hackert und Klaus Westermann, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1989–1994.

этих текстов, написанных, казалось бы, всего лишь на злобу дня, но и поныне не утративших своего блеска и захватывающей читателя внутренней энергии. В них всегда ощущается стремление и умение изобретательной, сметливой и пытливой, а зачастую и просто озорной мысли преодолеть и как бы перехитрить косность и однообразие житейской прозы, разглядеть, а то и подглядеть неожиданное и новое в примелькавшемся и заурядном, готовность с радостной детской непосредственностью отозваться на всякую перемену, подмеченную в однообразном течении повседневности.

Подобная неувядающая свежесть восприятия – это, конечно, в первую очередь природный дар, но еще и сознательно выработанный, натренированный навык наблюдательности. Думаю, заметную роль тут сыграло и восторженное любопытство провинциала, человека, пробившегося в столичную жизнь из захолустья и во многом «сделавшего себя» своими силами. Матерый газетный волк, каким запомнили Йозефа Рота европейские столицы уже с середины 1920-х, корифей журналистики, вхожий во все элитные дома и дорогие рестораны, завсегдатай модных кафе, светских вечеринок, шумных театральных премьер и спортивных зрелищ, постоялец эксклюзивных отелей – словом, человек, в чьей судьбе, казалось бы, воочию воплотилась головокружительная траектория успеха, он, судя по всему, никогда не забывал об исходной точке своего взлета: о богом забытом местечковом галицийском городишке Броды на самой окраине могучей Австро-Венгерской империи, в сотне верст от Лемберга (нынешнего Львова) и каких-нибудь десяти – от границы другой, уж и вовсе необъятной, Российской империи. Там, на этой периферии двух царств, неоднократно с любовью и ненавистью описанной в его романах, в этой глухомани, в окружении степей и болот, где зимой всё терялось в заснеженных далах, а осенью и весной ночами в черноземной жиже проселков подрагивали огромные звезды, он рос безотцовщиной у любящей полунищей матери, на скудном попечении многочисленной еврейской родни, худо-бедно, но всё же обеспечившей мальчику обучение в местной классической гимназии, а потом и снарядившей его во львовский университет. Проучившись там год, он сумел перебраться в столицу, в фешенебельно-роскошную Вену, откуда после университета напрямик угодил на фронт, окунувшись после радостей столичной жизни во все невзгоды окопного бытия. С фронта посылал в газеты свои первые заметки, а по окончании войны среди голода, разрухи и унижения распадающейся империи вынужден был добывать себе хлеб насущный журналистской поденщиной. В таких условиях возможность выжить была одна – добиться успеха.

По счастью, он очень рано открыл для себя главный секрет занимательности: важно не *что* ты описываешь, а *как*. За столетия с лишним до него немецкий романтик Новалис, раздумывая об идеальном романе, мечтал об умении повествователя «делать вещи странными». Наверняка зная не зная о теориях русского ОПОЯЗа, введших в эстетический обиход понятие «остранение», и задолго до Брехта, у которого сходная идея «запатентована» термином *verfremdungseffekt*³, журналист и публицист Рот, отнюдь не склонный к теоретическим умствованиям, начал интуитивно пользоваться этим приемом сплошь и рядом. Вчерашний провинциал, он сберег в себе умение удивляться бурным перипетиям столичных нововведений, уморительно выставляя себя на их фоне наивным простаком. С тем же эффектом он, обладавший необычайно острым чутьем на всё новое, подвергал ироническому рассмотрению новомодные веяния века, притворно противопоставляя их воззрениям, традициям и устоям века минувшего, прикидываясь то умеренным ретроградом, то переполошившимся обывателем, то комически недоумевающим гуманистом. В его журналистской прозе неизменно присутствует некое дополнительное измерение, своеобразный «допуск» фантазии и юмора, сообщающий его наблюдениям остроумие, неожиданность и глубину. В этом отношении для него несомнен-

³ Традиционно и не вполне точно переводится на русский как «эффект отчуждения», правильнее было бы «эффект очуждения».

ным и осознанным ориентиром всегда оставался Генрих Гейне, поэзию которого он всю жизнь любил, а на публицистике которого всю жизнь учился.

С распадом империи Габсбургов Вена на глазах превращалась в провинцию, поэтому в 1920 году Йозеф Рот перебирается в Берлин, с которым связан расцвет его журналистского творчества. Он пишет для разных газет, не только местных, в Вене и Праге всем тоже любопытно знать, что творится в Берлине, и удовлетворять этот интерес Рот умеет вполне. Поначалу он сотрудничает с газетами левой, преимущественно социал-демократической, ориентации, хотя при случае не упускает возможности подработать и в коммунистической прессе, но довольно скоро его политическая ангажированность сменяется достаточно умеренным либерализмом, непримиримым лишь ко всё более очевидным и грозным проявлениям фашизма. Растущим нацистским тенденциям, воинствующему антисемитизму он демонстративно противопоставляет сосредоточенное внимание к судьбам еврейского народа, посвящая этой теме целый ряд публикаций, а в конечном счете и книгу⁴. С осени 1924 года он становится штатным берлинским корреспондентом респектабельной *Frankfurter Zeitung*, по заданию редакции командировается в европейские страны – во Францию, в Албанию, неоднократно в Польшу, включая его малую родину Галицию, много раз в Австрию. С особым вниманием была встречена читателями его поездка в Советский Союз, где он провел почти всю осень 1926 года, отчитавшись о поездке двумя десятками публикаций, из которых вполне можно было бы сложить книгу, если бы свойственная Роту поистине бесценная и остроумная наблюдательность зачастую не сменялась в этих очерках добросовестными, но скучноватыми, а порой и наивными (особенно когда их читаешь сейчас) рассуждениями о том, как будет построена жизнь в стране побеждающего социализма. Зато публикация его убийственно язвительных памфлетов о поездке в фашистскую Италию осенью 1928 года чуть не вызвала международный скандал и была приостановлена то ли цензурой, то перепуганной редакцией – как бы там ни было, корреспондента срочно отозвали обратно в Германию.

Однако в фокусе его журналистского внимания неизменно и заслуженно остается Берлин – город, в котором в то время в турбулентной, противоречивой кинетической взвеси выказывали себя, пожалуй, все характерные тенденции политической и культурной жизни побежденной страны, с трудом поднимавшейся на ноги из руин послевоенной разрухи. Экономические потрясения, нашествие беженцев и эмигрантов едва ли не со всей Восточной Европы, финансовый кризис, гиперинфляция, подавленный фашистский путч, политический терроризм, жертвой которого становились ведущие политические деятели страны, год от года слабеющая демократия, почти неприкрытый паралич государственной власти, рост националистических и откровенно фашистских настроений, уличные бои штурмовиков с коммунистами, грозное предчувствие надвигающейся диктатуры – всё это так или иначе запечатлено в публицистике Йозефа Рота. Но вместе с тем Берлин 1920-х годов – это равнозначная Парижу вторая культурная столица Европы, средоточие едва ли не всех авангардных исканий в искусстве того времени, арена бурных градостроительных преобразований, центр невероятно разнообразной художественной и культурной активности. Эта сторона берлинской жизни интересует Рота, пожалуй, даже сильнее, нежели перипетии политической борьбы, но с наибольшим азартом – и тут, несомненно, им движет уже не журналистская, а писательская страсть – он создает зарисовки берлинского быта, зорко улавливая в текучке повседневности приметы и черточки перемен, которые в конечном счете и определяют атмосферу времени. Благодаря такому тематическому разнообразию его очерки в совокупности создают как бы панорамный портрет берлинской жизни 1920-х годов, который мы – при всей очевидной неполноте и возможной субъективности отбора – и попытались воспроизвести в этой книге.

⁴ См.: *Рот Й. Дороги еврейских скитаний [1926] / пер. А. Шибаровой. М.: Текст; Книжники, 2011.*

Рот покинул Берлин в январе 1933 года, сразу после прихода Гитлера к власти. Не питая ни малейших иллюзий относительно перспектив политического будущего Германии, он эмигрирует во Францию, где его журналистская активность постепенно, но с неизбежностью пойдет на убыль, хочешь не хочешь всё больше уступая место писательству. Он, даже в пору своего относительного процветания никогда не имевший того, что принято именовать «домашним очагом» – его семейная жизнь, смолоду отмеченная всеми сомнительными прелестями богемного существования, и в берлинский период протекала то на съемных квартирах, то в гостиницах, к тому же всё больше омрачалась душевной болезнью жены, – во Франции, где жена вскоре очутится в психиатрической лечебнице (в 1940 году оккупировавшие страну гитлеровцы в соответствии со своей доктриной «милосердной эвтаназии» ее попросту умертвят), и вовсе будет жить холостяком, порой, как и в молодости, на грани нищеты, и скитальчество, как и пристрастие к алкоголю, станет нормой. В мае 1939 года в Париже Йозеф Рот умрет от сердечного приступа – уже не знаменитым журналистом и еще не прославленным писателем.

М. Рудницкий

Часть 1

Берлин – приметы времени и места

Небоскреб

Вот уже несколько недель в берлинской ратуше экспонируется чрезвычайно интересная выставка проектов высотного строительства. Поговаривают, что теперь и возведение небоскреба должно быть ускорено. Это будет первый в Германии небоскреб.

Вообще-то само слово «небоскреб» – не техническое, а скорее простонародное обозначение гигантских высотных зданий, которые мы привыкли видеть на фотографиях нью-йоркских улиц. Наименование весьма романтическое и образное. Оно подразумевает здание, крыша которого как бы «скребет» небо. В самом слове есть что-то революционное – наподобие грандиозной мечты о Вавилонской башне.

Небоскреб – это воплотившийся в материале протест против тщеты недостижимости; против таинства высоты, против потусторонности небесных пределов.

«Небоскреб» – этим словом обозначается одна из тех вершин технического развития, на которой преодолевается рационализм «конструкции» и уже намечено возвращение к романтике природного мира. Небо, это далекая, вечная загадка мироздания, таившая в себе божью милость и гнев, небо, на которое первобытный человек взирал с благоговением и страхом, обживается и даже становится, так сказать, уютным. Там, на небе, мы устроимся со всеми удобствами. Мы поведаем небесам о смехотворных несусазицах и серьезных делах земной жизни. Они услышат перестук пишущих машинок и перезвон телефонных аппаратов, утробное бульканье в батареях отопления и капанье подтекающих водопроводных кранов.

Это будет своего рода возвращением сложного, рефлектирующего современного человека к первобытным истокам природных стихий. Событие знаменательное, но, сдастся мне, мы готовы отнестись к нему без должного внимания. Возведение первого небоскреба – это один из судьбоносных, поворотных моментов истории.



Неизвестный фотограф. Панорамный вид исторической части города, вид на Музейный остров на Шпрее с запада. Около 1920 г.

Всякий раз, когда я вижу фотографии Нью-Йорка, меня переполняет чувство глубокой благодарности всемогуществу технических возможностей человека. На следующей стадии своего развития наша цивилизация получит возможность снова приблизиться к древним категориям культуры.

Когда был изобретен первый паровоз, поэты принялись сетовать на грядущее изничтожение природы; человеческой фантазии рисовались картины страшного будущего – целые континенты без лесов и лугов, иссякшие реки, засохшие растения, погибшие от удушья бабочки. Никому и невдомек было, что всякое развитие проходит таинственный круговорот, в котором смыкаются и совпадают концы и начала.

Ибо изобретение самолета означало не объявление войны всякой летучей твари, а, напротив, братание человека с орлом. Первый рудопромышленник принес в земные недра не опустошение, он бережно возвращался в лоно матушки-Земли. То, что выглядит войной против природных стихий, на самом деле есть союз человека с силами природы. Человек и природа снова едины. Свобода обитает в небоскребах так же, как на горных вершинах.

Наконец-то сбываются долгожданные земные чаяния: преодолеть недостаток пространства за счет покорения высоты. Перед нами явленное в материи использование всех трех земных измерений – подъем ввысь, зримый внешне и обжитый, наполненный внутренне.

Невозможно предположить, что близость к небу никак не повлияет на человека. Взгляд из окна, охватывающий безграничность горизонтов по всей округе, не может не отозваться в душе и сердце. Легкие всей грудью вдохнут воздух небес. Облака, прежде ласкавшие лишь нимбы олимпийских небожителей, теперь охлаждают чело простого смертного.



Фриц Эшен. Аллея Победы в Тиргартене, также известная среди берлинцев как «Аллея кукол». Около 1936 г.

Я уже вижу его, этот небоскреб: выделенное в городском пространстве, отдельно стоящее на площади, устремленное ввысь, стройное, парящее здание благородных и изящных контуров, перекличкой серого и белого цветов выделяющееся на голубизне неба, своей мощной и надежной осанкой соперничающее с незаблемостью горных кряжей.

Десятки тысяч людей ежедневно устремляются к его входам и выходам: миниатюрные конторские барышни с черными сумочками, выпорхнувшие из узкогрудых дворов города и бедноты его северных предместий, упругой, летящей походкой спешат к его дверям, заполняют могучие лифты и щебечущей стайкой ласточек взмывают в небо.

Но здесь же и уверенные, энергичные мужчины, во взгляде – целеустремленность, в каждом движении – предприимчивость и напор, рокот мотора и шорох шин подъезжающих авто, командный тон приказов, деловитость окриков, равномерный такт механического многоголосия, никчемный по отдельности и осмысленный только в слитной подчиненности единой цели.

А где-то на самом верху – Господь Бог, потревоженный в своем вечном покое и волей-неволей вынужденный принять участие в нашей скромной земной юдоли.

Но увы и ах! Уже довелось прочесть, что в первом берлинском небоскребе планируется разместить грандиозный развлекательный центр. С кинотеатрами, танц-верандами, барами, рюмочными-закусочными, негритянскими капеллами, варьете и джаз-бандами.

Ибо натура человеческая не отрекается от своих слабостей даже там, где, казалось бы, вот-вот готова их преодолеть.

И даже если нам когда-нибудь удастся возвести планетоскреб и начать застройку Марса – экспедицию ученых и инженеров всенепременно будет сопровождать отряд специалистов по индустрии развлечений.

Сквозь пелену облаков мне видятся далекие огни барной стойки. Накрапывает сладкий ликерный дождичек.

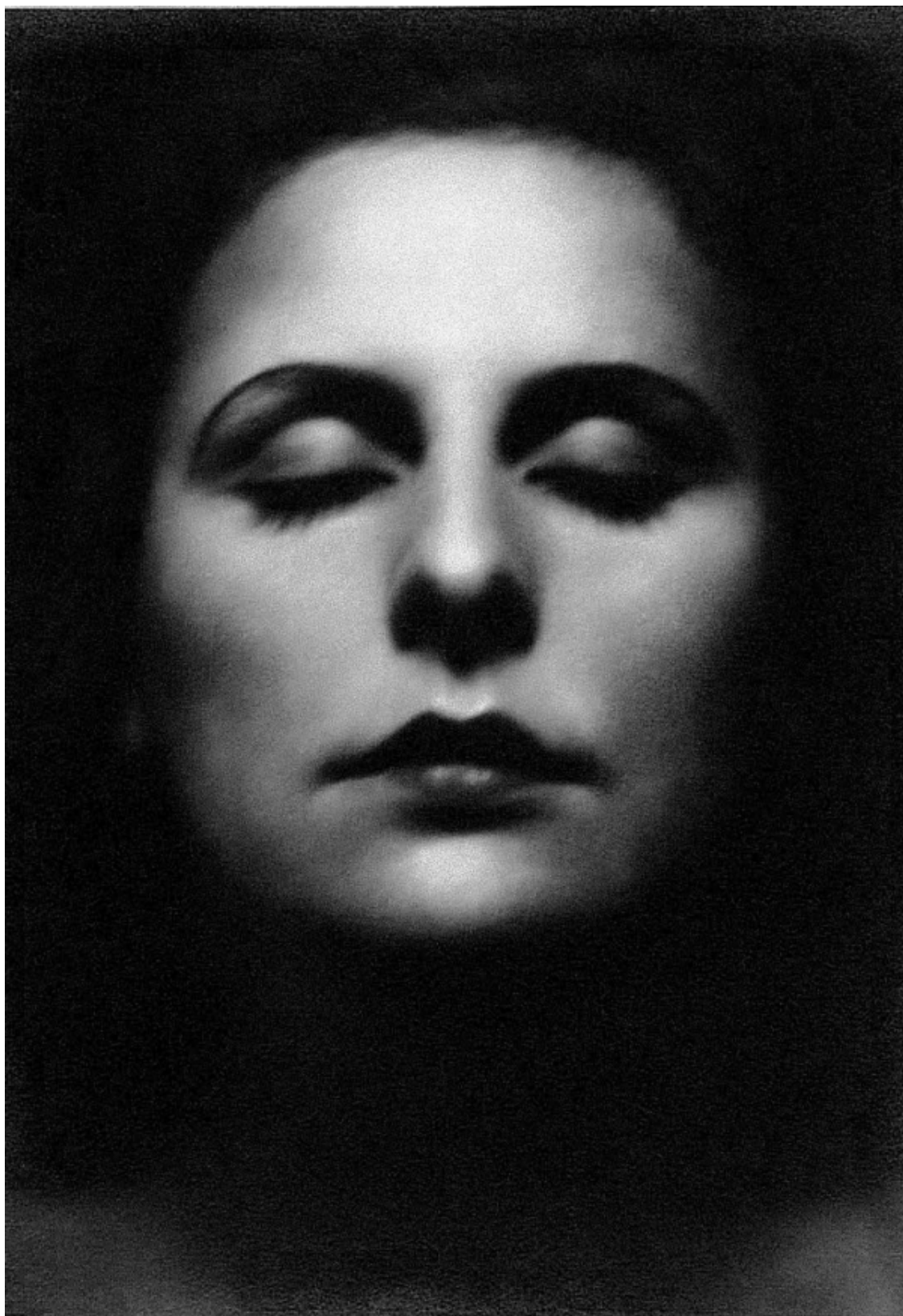
Berliner Börsen-Courier, 12.03.1922

Философия паноптикума

В пассаже «Унтер ден Линден» проходит исторический аукцион: распродается последний берлинский паноптикум. Целый мир воска, курьезов, поддельного сходства и неподдельного ужаса идет с молотка оптом и в розницу. А ведь это была и запечатленная в воске хроника скандальных происшествий, и увековеченная череда поворотных моментов всемирной истории, в сердцевине которых, по сути, тоже заложено нечто от восковой показухи – все эти парады, коронации и прочие пышные торжества. Благодаря символическому расположению экспозиции берлинского паноптикума лишь *один* шаг отделял там кабинет ужасов от сказочного зала, и лишь полотняная шторка – европейских монархов от комнаты смеха. Волею парадоксальной философии паноптикума земное величие и земные ужасы, увековеченные в воске, делались смешными. Никогда еще индустрия памятников не выпускала изделий, до такой степени лишенных торжественности. Эти фигуры обделены пиететом и пафосом заведомо. Гёте из воска по определению не обладает весомостью и величием мраморного Гёте. Податливый материал позволяет воспроизвести «совершенно как в жизни» цвет лица, но своей дешевизной компрометирует уникальность поэтического гения. Единственным достоинством паноптикума был как раз его произвольный комизм, снижавший всяческий пафос, превращая собрание восковых фигур в своеобразную комнату смеха.

Ибо главная задумка паноптикума – почти пугающее сходство с жизнью – неизбежно должна вызывать смех. Эта идея враждебна всякому подлинному искусству, поскольку воспроизводит вероятную внешнюю достоверность вместо глубинной внутренней правды, а значит – бездушную «похожесть» натуралистической фотографии или «копии». Вылепленный из воска маньяк-убийца всего лишь потешен. Но смешон и вылепленный из воска Ротшильд. Одного непригодность материала лишила всякого ужаса, другого – всякого достоинства.

Паноптикум пал жертвой нашего времени, его радостно пробудившейся жажды движения, что полнее всего воплотилась в кино. В век кино паноптикум уже никому ничего дать не в силах. В век интенсивного действия всякая застылость, сколь бы ни прятала она свою мертвенность под жутковатой маской жизнеподобия, попросту невозможна. Движущаяся тень для нас гораздо ценнее застывшего в неподвижности тела. Лицо, с которого не сходит улыбка, нас уже не обманет. Мы-то знаем: вечно улыбаться способна только смерть.



Александр Биндер. Лени Рифеншталь. 1928 г.

И вот, в последний раз, эти восковые куклы сегодня вновь пробуждают актуальный событийный интерес. Аукцион проходит – вот она, ирония судьбы! – в залах «Белой мыши»⁵. В

⁵ Скандально известное берлинское кабаре (открыто в 1919-м), где после полуночи демонстрировались монстрезные,

вестибюле горой громоздятся восковые головы. Их удобства ради отделили от туловищ, но в них всё равно опознаются некоторые остатки былой жизни. Вот бородатый мужчина всё еще прячет под бородой свой галстук, а вон ворот рубашки льнет к ампутированной шее. Соблазнительно улыбается голая восковая девица, чью нижнюю часть варварски расколошматили во время транспортировки, – тем страшнее контраст между улыбающимися губками и изуродованным торсом, благодаря которому от фигуры впервые исходит некое – хоть и жутковатое – дыхание жизни. Впечатление такое, будто вскрыли массовое захоронение законсервированных человеческих голов, какое-то бранное поле мертвецкой жизни. Все эти существа были обезглавлены во цвете лет, так и кажется, будто их души буквально только что упивались радостью бытия и внезапная боль не успела исказить их лица судорогой смертной муки. Рядом с этой пирамидой голов (числом до двух сотен) суетятся и торгуются живые люди, тут же примостились и здоровенные мебельные грузчики, смачно уписывающие свою горячую похлебку.

В соседней зале выставлены чучела обезьян и обезьяньи скелеты, этот запыленный хлам популярной естественной науки, которая так любит демонстрировать свои результаты, стараясь умалчивать об их взаимосвязях. Тут же минералы и причудливые растения, а также дань культурно-исторической романтике – колчаны, стрелы и копья индейцев, – всё это в совокупности являет собой как бы иллюстрацию и квинтэссенцию полуобразованности и беспорядочной начитанности, некий мир ненасытного книгочехя дешевых брошюр, вечно блуждающего в тщетных устремлениях узнать хоть что-то. Вид этих предметов внушает сентиментальную грусть, ибо они тоже, как и восковые куклы, жертвы нашей эпохи, породившей и формирующей всё новых односторонних специалистов, готовя, надо надеяться, появление человека истинно глубоких знаний в противоположность нынешнему носителю знаний хотя и обширных, но половинчатых.

В аукционном зале всюду идут торги, продаются слоновьи бивни, двое участников ожесточенно сцепились в схватке за старинную резьбу по дереву и медный сосуд невероятных размеров, повидавший, не иначе, еще ихтиозавров. Просто поразительно, что в наше время человек способен выложить в день 100 миллионов⁶ и больше за какой-то хлам из металла, дерева или меди, за колченогие столы, уродливые тронные кресла, дурацкие комоды... Наблюдая за ним, я постигаю смысл распродажи: этот субъект покупает отнюдь не из сентиментальных побуждений. Он, напротив, человек нового времени – в коротком меховом полушубке, с толстой сигарой в зубах цветного металла, он – весь расчет и само спокойствие, ходячий арифмометр, поэт процентов, твердо уверенный в своих действиях и своей победе. Одному богу известно, чего ради загребают его руки все эти горшки, миски, деревянные резные фигурки и во что превратится вся эта рухлядь на его складах. Человек нашего столетия чеканит дукаты из любого хлама.

Значит, тем самым паноптикум выполнил свое высшее назначение.

якобы принципиально антиэротичные танцевальные номера с раздеванием. – *Здесь и далее – примечания переводчика.*

⁶ Стоит напомнить, что текст этот написан во времена разгара инфляции в Германии.



Неизвестный фотограф. Галстуки в витрине магазина мужской одежды «Шпарманн» в районе Штеглиц. Около 1932 г.

Златокузнец новейших времен, современный алхимик, он добывает капитал из сенсаций прошлого. Этот отыщет философский камень в любой средневековой кастрюле – и не путем алхимического эксперимента, а на стезе спекуляций. Всё дорожает от одного его прикосновения.



Неизвестный фотограф. Витрина берлинского магазина ночью. Около 1932 г.

Вот он стоит, покоритель и властелин уходящих миров, ловец золота из чего угодно, способный переторговать и облапошить всякого и купить всё. В его необъятном тулове ворочается весь воображимый паноптикум былых времен – головы и чугуны, копья и обезьяны, убийцы и монархи, гигантские чудища и карлики-уродцы. В нем для всего найдется место, ибо он – конечная цель и смысл паноптикумного бытия.

Berliner Börsen-Courier, 25.02.1923

Педагогическая витрина

Берлинская торговая корпорация осуществила весьма интересное и более чем наглядное начинание: преподавать населению «товароведение в витринах». Вот уже несколько дней Лейпцигская улица напоминает своеобразное торговое училище. В витринах можно наблюдать историю возникновения товаров: как, к примеру, из железной болванки путем превращения ее сперва в ленту проката, а потом во множество раскаленных полосок железа получаются в итоге перочинные ножи; как в порошковом состоянии выглядит эмаль, покрывающая наши кастрюли; как из голого проволочного каркаса и куска сукна или шелка сооружается зонтик. Мне бы в жизни не узнать, что первая попытка изготовить авторучку – под названием «переносное чернильное перо» – была предпринята аж в 1781 году, не озаботясь магазин авторучек благородной целью ознакомить меня с историей этого полезного инструмента, с помощью которого я зарабатываю себе на хлеб. Мы ведь слепы и несведущи хуже младенцев! «Анабазис» Ксенофонта мы прочли, а как зонтик делается – нам и невдомек. Зато теперь мы с изумлением и восторгом дефилируем мимо предметов, которыми пользуемся каждый день и которые здесь, в витринах, иной раз даже опознать не в состоянии. Отделенную от кастрюли ручку, в торжественном одиночестве возлежащую на листе стекла, нам идентифицировать не по силам. Составные части хорошо знакомых вещей обретают чуждое обличье и непостижимое уму практическое назначение. Металлическая головка мебельной ручки выглядит (отдельно от ящика письменного стола) бесполезной безделушкой. Вот так на Лейпцигской улице и учишься смирать гордыню, и всякий гуманитарно сформированный ум в унижении самопознания почтительно склоняется здесь перед великим гением повседневной пользы.

Frankfurter Zeitung, 24.05.1924

Присягаю берлинскому треугольнику⁷

Присягаю Берлинскому железнодорожному треугольнику. Это символ и первоисток жизнедвижущей энергии, провозвестие фантастического всемогущества грядущих времен.

Это средоточие. Это исток и устье всех обитающих окрест витальных сил – точно так же, как сердце являет собой исход и цель кровообращения. А здесь перед нами как бы сердце того мира, чью жизнь составляют обороты приводных ремней, ход и бой часов, жутковатый рывок поршня и вой сирены. Именно так и должно выглядеть сердце земли, вращаясь она вокруг своей оси в тысячу раз быстрее, чем мы полагаем это ощущать по привычной смене дня и ночи; сердце, чье непрестанное, бессмертное биение лишь кажется безумием, но есть результат математического предвидения; чей неистовый ритм внушает всем любителям сентиментально оглядываться в прошлое суеверный ужас перед грядущим истреблением всех духовных сил и крахом целительного душевного равновесия, но на самом деле творит живительное тепло и благодать неизбежного движения.

В треугольниках, а вернее, в многоугольниках сходящихся и расходящихся рельс сливаются и разбегаются в стороны сталью поблескивающие жилы, черпая здесь ток, набираясь энергии для дальних маршрутов по мировым просторам: это жилистые треугольники, жилистые многоугольники, полигоны на перекрестках жизненных путей – им, могучим и неисповедимым, я присягаю!

Им нет дела до слабаков, которые страшатся их и презирают, они этих слабаков не только переживут – они их перемелют. Кого их вид не потрясает, не преисполняет гордости, тот не заслуживает смерти, уготованной человеку божеством машины. Ландшафт – что содержит в себе для нас это понятие? Луг, лес, колос, былинку... «Стальной ландшафт» – вот, вероятно, подходящие слова. Стальной ландшафт, грандиозный храм машинной техники под открытым небом, освященный животворным, оплодотворяющим, порождающим нескончаемое движение дымом из высоченных, километроворостых фабричных труб. И на всех бескрайних просторах этого ландшафта из чугуна и стали, сколько способен узреть глаз до мгlistой кромки горизонтов, – вечное камлание миру машин.

Таково царство новой жизни, чьи законы не способна нарушить воля случая, изменить чья-то прихоть, чей распорядок и ход являют собой беспощадную, железную закономерность, в чьих шестернях и колесах действует мысль, трезвая, но не холодная, разум, неумолимый, но не косный. Ибо только окончание влечет за собой холод, движение же, гением расчета выведенное на предельную скорость, всегда и всюду творит тепло. Слабость всего живого, вынужденного мириться с природной мягкостью плоти, сама по себе еще не признак жизни, равно как и стальная прочность металлических конструкций, чьей стальной мускулатуре мягкость неведома, отнюдь не есть признак смерти. Это, напротив, высшая форма жизни, живое, созданное из неуступчивого материала, не подвластного капризам и прихотям, не имеющего нервов. В царстве железного треугольника царит неукоснительная воля целеустремленной, пытливой мысли, воплотившаяся не в мягком и ненадежном живом теле, а в непреклонном и неуступчивом теле машин.

Вот почему всё человеческое в этом царстве металла заведомо выглядит мелким, слабым, никчемным, заслуженно обретая значение скромного подсобного средства для возвы-

⁷ Берлинским треугольником изначально именовалось одноуровневое пересечение трех железнодорожных магистралей в берлинском районе Кройцберг. После нескольких железнодорожных катастроф на этой развязке в 10-е годы XX века железнодорожные пути были разнесены на разновысотные уровни в сложном переплетении эстакад. Это сооружение по праву воспринималось многими современниками как символ новейших достижений инженерно-технической мысли, которые, как известно, оказали существенное влияние на художественно-эстетические тенденции в искусстве той поры – футуризм, конструктивизм, новую вещественность.

шенной цели – точно так же, как это воспринимается в абстрактном мире философии и астрономии, в мире ясных, великих и мудрых мыслей; маленький человечек в форменном кителе бродит здесь, как потерянный, среди многосложных переплетений рельс, путей и шпал, низведенный в их хитроумной взаимосвязи до функции обыкновенного механизма. Он значит здесь не больше какого-нибудь рычага, его действенность не важнее, чем действенность путевой стрелки. В этом мире его способность к общению и сообщению ценится куда меньше, чем механические знаки орудий, приборов и инструментов. Важнее руки здесь рычаг, важнее кивка – сигнал, глаз здесь ничто по сравнению с лампой, вместо крика – ревуший свисток парового вентиля, и заправляют этим машинным миром не страсти, а предписания и инструкции, то есть закон.

Домики путевого обходчика, обиталище человека, смотрятся здесь игрушечной шкатулкой. Настолько ничтожно всё, что в ней, с ним или его стараниями там происходит, настолько второстепенны все его дела и хлопоты – зачинает ли он детей, копает ли картошку, кормит ли собаку, драит ли его жена полы, вывешивает ли сушиться белье. И даже великие трагедии, разыгрывающиеся в его душе, на этом грандиозном фоне кажутся пустяком, мелочами быта. Его вечно-человеческое – всего лишь мелкая помеха самому ценному в нем, сущностно-профессиональному.

Возможно ли, позволительно ли еще слышать слабенький стук человеческого сердца в громе этого мирового биения? Взгляните в ясную ночь на железнодорожный треугольник, на эту осиянную десятками тысяч огней долину – она прекраснее и торжественнее звездного неба и с притягательностью хрустальных небесных сфер влечет к себе наши чаяния, суля исполнимость небывалому. Это и пауза, и начало, это увертюра грандиозной и прекрасной, уже явственно слышимой симфонии будущего. Поблескивая в темноте, нескончаемыми связующими нитями протянулись рельсы – из края в край, от края и до края. В их молекулах волнами бьется могучий перестук колес невидимых, где-то за горизонтом мчащихся составов, опрометью взбегают вверх по насыпям путевые обходчики, красными и зелеными глазами перемигиваются огни семафоров. Струи пара со свистом вылетают из вентилях, сами собой движутся рычаги, шатуны и поршни, чудеса сбываются наяву по воле многосложного математического расчета, незримого оку и непостижимого уму.

Вот сколь невероятны масштабы и мерки новой жизни. Само собой понятно, что новое искусство, призванное эту жизнь выразить, пока только ищет средства выражения. Эта реальность покамест слишком велика для подходящего ей, достойного ее художественного воплощения. Тут недостаточно просто «достоверного отображения». Надо ощутить высшую, идеальную сущность этого мира, платоновский «эйдолон» железнодорожного треугольника. Надо со всей страстью присягнуть его устрашающей непреложности, ощутить «ананку», наваждение, сокрытое в его смертоносной действенности, и лучше уж желать гибели по его законам, нежели стремиться к счастью по «гуманным» представлениям сентиментального бытия.

Вот таким железнодорожным треугольником, только невероятного размаха, и будет мир грядущего. Земля прошла много преобразований – в природных границах. Теперь она переживает новое, совсем иное преобразование, по конструктивным законам, осознанным, но не менее могущественным. Скорбь о старых, отмирающих формах столь же бессмысленна, как бессмысленна тоска существа допотопной эры об исчезновении доисторического миропорядка.

Запыленные травинки грядущих времен будут робко прорастать между сталью и шпалами. Понятие «ландшафт» надевает металлическую маску.

Frankfurter Zeitung, 16.07.1924

Совсем большой магазин

Вообще-то большие магазины в городе уже имелись. Но всегда находятся люди, которым не хватает совсем большого магазина. Этим неуемным энтузиастам казалось обидным, что в здании магазина всего лишь четыре, пять, ну, от силы шесть этажей, и в своих дерзновенных амбициях они посягали грезить о магазине в десять, двенадцать и даже пятнадцать этажей. И помышляли при этом вовсе не о том, чтобы, допустим, подобраться поближе к самому Господу – что, кстати, было бы совершенно тщетной затеей, ибо, судя по тому, что мы знаем, к Нему можно приблизиться, не поднимаясь как можно выше в облака, а напротив, лишь пресмыкаясь во прахе, из коего все мы сотворены. Отнюдь! Людям, мечтавшим о совсем большом магазине, хотелось всего лишь возвыситься над магазинами поменьше, наподобие бегунов наших дней, которые бегут не куда-то, а лишь затем, чтобы раньше соперников достичь финишной ленточки, неважно, где ее протянули. Энтузиастам совсем большого магазина грезились магазин-небоскреб. И вот в один прекрасный день такой магазин был построен, и весь народ туда двинулся, и я вместе с народом...

Прежние, всего лишь просто большие магазины рядом с этим гигантом торговли выглядят мелкими лавочками, хотя, по существу, совсем большой магазин от просто больших почти ничем не отличается. В нем только больше товаров, лифтов, покупателей, лестниц, эскалаторов, касс, продавцов, ливрей, витрин, ящиков и картонных коробок. Правда, товары кажутся более дешевыми. Ибо когда их сразу столько и все они утрамбованы, как сельди в бочке, они сами теряют уверенность в своей стоимости. Они падают в собственных глазах и сами сбивают на себя цену, обрекая себя на унижение, ибо что есть дешевизна товара, как не его унижение? Но поскольку покупателей тоже полно и они тоже теснятся, как сельди в бочке, товары и к покупателям не слишком взыскательны, тем самым подвергая унижению и их. Так что если поначалу совсем большой магазин представлялся плодом гордыни и греховной заносчивости человеческого гения, то со временем начинаешь понимать, что это всего лишь грандиозное вместилище мелкой человеческой заурядности, выставка и впечатляющее доказательство всемирной и всемерной дешевизны.

Едва ли не самым красноречивым примером тому мне представляется эскалатор. Это лестница, по которой человек не взбирается сам, а которая, напротив, поднимается вместе с ним. Точнее, даже не поднимается, а едет. Каждая ступенька торопится втащить покупателя наверх, словно боится, что тот вдруг раздумает и повернет назад. Она спешит доставить покупателя к товарам, взбираться к которым по обычной лестнице он, вероятно, ни за что не стал бы. А что, в самом деле, если подумать: спускать ли товары по самодвижущейся лестнице до ожидающего внизу покупателя или по той же самодвижущейся лестнице поднимать покупателя до ожидающих его наверху товаров – по сути-то разницы никакой.

Правда, в совсем большом магазине имеются и обычные лестницы. Но они всегда «свеже натерты», и всякий, кто отважится на них ступить, должен считаться с неприятной возможностью, как предупреждает объявление, поскользнуться «на свой страх и риск». Вообще-то от обычных лестниц, этих примитивных, неудобных и опасных устройств, что рядом с лифтами и эскалаторами выглядят чуть ли не садовой стремянкой, с превеликой радостью и вовсе бы отказались. А чтобы придать им еще более устрашающий вид, их снова и снова наващивают. Пустынные, безлюдные, они уныло поблескивают своими почти нехожеными, слишком гладкими ступеньками – убогий пережиток былых времен, когда наивное человечество еще любопытствовало заходить в полуразрушенные замки и просто большие магазины, ведать не ведая о существовании магазинов совсем больших.

Вероятно, совсем большой магазин выстроили бы еще выше, не возникни у кого-то идея, что здание его должно быть увенчано террасой, на которой покупатели смогут поесть, выпить,

насладиться с высоты окружающим видом, послушать музыку, но при этом ни в коем случае не замерзнуть. Однако подобная идея возникла, хотя вообще-то человеческой натуре вроде бы не так уж свойственна потребность после покупки белья, кухонной посуды или спортивной утвари всенепременно выпить чашечку кофе, съесть пирожное и послушать музыку. Вероятно, впрочем, было решено, что оные потребности присущи исконной первоприроде человека, и вот с оглядкой на них и соорудили на самой верхотуре так называемый сад-террасу. С утра до вечера там прохлаждаются, едят и пьют покупатели, и, хотя странно предположить, что они делают это без аппетита, вид у них такой, будто они потребляют яства и напитки по обязанности, лишь бы доказать правомерность существования ресторана-террасы. Сдается, даже сам их аппетит носит несколько показной, демонстративный характер. И если в залах магазина, пока плавные ленты эскалаторов возносили их с этажа на этаж, они, пусть частично ограниченные в своей подвижности, всё-таки еще походили на покупателей, то здесь, на ресторанной террасе, в своей экспонатной пассивности они достигают полного и разительного сходства с товарами. И хотя они вроде бы платят за еду и напитки, впечатление такое, будто за нахождение здесь заплатили им самим.

Их доблестную неподвижность услаждает музыкой превосходный оркестр. Их взгляд скользит по далеким башням, смутным газгольдерам и мглистым горизонтам. Небывалые удовольствия предлагаются столь многим и с такой неутомимой настоятельностью, что ощущение небывалости пропадает. И как в залах магазина изобилие товаров и покупателей сообщало тем и другим налет заурядности, так здесь, на террасе, заурядными становятся удовольствия. Всё достижимо всем и каждому. Каждому и всем всё доступно.

Вот почему не стоит считать совсем большой магазин греховным воплощением человеческой гордыни наподобие Вавилонской башни. Он, напротив, являет собой лишь доказательство неспособности современного человечества проявлять в своей натуре умеренность. Ему по силам воздвигнуть даже небоскреб – итогом будет отнюдь не потоп, а всего лишь сделка...

Münchener Neueste Nachrichten, 08.09.1929

Куклы

Мои первые волнующие встречи с миром любви протекали в давно минувшую эру, когда еще я был ребенком, перед витринами парикмахерских. За стеклами этих витрин, тогда не столь огромных, как ныне, и не источавших холода зеркал, мерцали восковые бюсты женщин в окружении склянок с натираниями, бальзамами для волос и коробочками пудры различных марок, чьи имена преданиями первобытных косметических эпох давно канули в Лету. Люди еще были покрыты растительностью, как страны, в которых они обитали, белокурые, черные, как смоль, светло- и темно-русые леса буйными зарослями обрамляли лица особей мужеского пола. Женский пол тоже еще обладал определенными признаками и бережно их лелеял. Моей фантазии, неустанно порождавшей эротические видения, способной даже в словах «пеньюар» или «распущенные волосы», не говоря уж о метафорическом «волосяном покрове», ошутить обжигающий соблазн сокрытой наготы женского тела, эти витрины распахивали всю жаркую, сладострастную темень спален. Белокурые и черноволосые парики неимоверной длины вьющимися волнами омывали бело-розовую порочную невинность восковых ликів. Плечи и груди, нагота которых обрывалась ровно на тех местах, где они, быть может, как раз переставали бы пробуждать любовный пыл, терялись в пышных складках винно-бордовой, темно-синей или изумрудно-зеленой плюшевой драпировки. Недостающие детали женственности таким образом всё равно присутствовали, пусть и оставаясь сокрытыми от глаз. Убивающих все иллюзии выпуклых окончаний этих полых восковых женских грудей было не видно. Все куклы были на одно лицо. Они различались лишь цветом волос, то белокурых, то смолянисто-черных, и радужками зрачков, то почти нестерпимо голубых, то столь же недвусмысленно черных, причем – по неведомым, но трогательным в своей наивности канонам понимания человеческой природы – блондинкам неизменно доставались голубые глаза, брюнетки же буравили прохожих уголками черных. Однако иной раз, по недоразумению или чьей-то рассеянности, возникали будоражающие вариации. И тогда вдруг голубые фарфоровые очи под сенью черного парика приобретали демонический фиолетово-свинцовый отблеск грозового неба, а черные зрачки, по недосмотру ощутив над собой привычно безмятежную лучезарность белокурых локонов, начинали поблескивать добрыми золотистыми искорками. В остальном же все куклы были неотличимо похожи, оставаясь представительницами женского пола вообще, неисчислимыми существами одного вида – женщины как таковой, созданной из нашего ребра и с этого божественного мгновения неизменно пребывающей в нашем сердце. Маленький накрашенный ротик пылал алым бутоном любви и порока. А плечи, хотя и лишённые рук, загадочным образом не утрачивали способности к объятиям. Хотя и вылепленные из воска, они своим теплым мерцанием до того правдоподобно создавали видимость натуральной женской телесности, что терявшаяся в волнах драпировки грудь, чем дольше ты на нее смотрел, всё явственнее начинала вздыматься и опускаться. Живое дыхание безжизненной куклы заполняло собой всю витрину, сообщая легкий трепет складкам неподвижной материи. И чудилось вдруг, что волосы не были завиты давным-давно, а только сейчас начали виться. Застывшие, постоянно распаханые глаза, казалось, только-только раскрылись. И это были не просто открытые глаза. Это было мановение ресниц, увековеченное и сладостное.



Ганс Шаллер. Художник рисует портрет актрисы Марты Эггерт для рекламного кино-плаката. Около 1930 г.

Куклы эти, как ни прискорбно, давно и бесследно исчезли. И виной тому не червоточины времени, ибо воск – весьма долговечный материал, а женская молодость и красота – тоже из разряда тех субстанций, из которых когда-то заказывали себе свою нетленную оболочку богини. Но вот червоточинам моды куклы противостоять не могли. И погибли, разбились с сухим, прозаическим треском, обнажая пористую восковую изнанку своих пленительных округлостей и полушарий, да, их пустили на слом, хотя куда почтительнее было бы переплавить

их на свечи и ставить в храмах во спасение утраченной красоты. Да-да, утраченной! Ибо куклы нашего времени, которых я разглядываю иногда в пустынной темноте ночных улиц, — хотя и выглядят куда более утонченными созданиями и тоже стараются казаться соблазнительными, являя собой не одни только бюсты, а весь набор необходимых анатомических подробностей, — увы, прекрасными я никак назвать не могу. «Взаправдашний» реализм скромных восковых бюстов моего детства был убедительным именно в своей наивности. Они воплощали не тип женщины, а, скорее чаяние о женщине, и, хотя отливались тысячами и сотнями тысяч в одних и тех же формовочных трафаретах, были по-своему особенными для себя и по-своему прекрасными для нас. Каждая являла собой не женщину, а косметический миф о женщине.

Но когда эра готового платья, гигиены и парикмахерских салонов начала выставлять в витринах пугающе натуральные куклы различных «типов современной женщины», на смену поэзии мифа пришло уныло доскональное, поддающееся проверке копирование, тем паче, что и возможность самой проверки значительно упростилась. Изменились и материалы. В дело теперь пошел уже не воск, а дерево, принимающее очертания посеребренных, никелированных, позолоченных женских ликов, платиновых плеч, коленей и лодыжек, туго обтянутых искусственным шелком. Надменность металла, высокомерие нержавеющей стали намертво впечатались в смышленную деловитость этих личиков, излучающих нешуточную осведомленность в марках автомобилей и новостях большого спорта. Самоуверенны, победоносны, жестки, как всё наше время, они, сами типичное порождение этого времени, красуются в его витринах. Их соблазнительные и вместе с тем неприступные позы, вся их бронированная чувственность, прикрытая ужимками то ли роскошной содержанки, то ли парламентской амазонки, — всего лишь уродливый гибрид, в той же мере воспроизводящий реальность наших дней, в какой добрые милые восковые бюсты моего детства превосходили реальность дней минувших. Больше того, эти куклы, кажется, не только копируют действительность, они, похоже, вбирают ее в себя из жизни, из суеты улиц, из всего нашего общества. Они эту жизнь в себя всасывают. Ночью, когда оригинальные особи давно уже почивают в постелях, их копии за стеклами витрин произрастают с такой жизненной натуральностью, что в существовании самих оригиналов поневоле начинаешь сомневаться. Кажется, что всех этих дам в их красных лакированных автомобильчиках не домой отвезли, а водворили в зазеркалье витрин, чтобы выставить напоказ во всей их хромированной красе. Их фигуры давно уже не теряются манящей тайной в коконах драпировок, а складками ткани то ли подчеркивают, то ли обнажают свою наготу. Но даже попытайся они укрыть от наших взоров свои тела, дабы тлеющим пламенем тайны затеплить фитилек нашей фантазии, — им бы это не удалось. Ибо уже на их лицах написано, что сердца у них из легированной стали, а ноги обтянуты нитроглицерином, из которого, как известно, производится не только искусственный шелк — но и ядовитый газ...

Münchener Neueste Nachrichten, 13.10.1929

Архитектура

Признаюсь, мне не раз случалось спутать здание кабаре с крематорием и, напротив, проходя мимо иных сооружений, предназначенных, как выясняется, для общественного увеселения, ощутить холодок ужаса, какой пробирает нас обычно при виде похоронных принадлежностей. В прежние времена подобные недоразумения были совершенно исключены. Тогда, по крайней мере, еще можно было окольными путями простых умозаключений всему отвратительному, неуклюжему, аляповатому подыскать те прекрасные, изящные и соразмерные соответствия, от которых все эти уродства произошли. Здание, облик коего вызывал отдаленное, хотя и болезненное напоминание о классическом храме, несомненно было Театром оперетты. То, что выглядело кафедральным собором, наверняка скрывало в себе главный вокзал. Противно, но удобно. Постигнув закономерности подмены, ты безошибочно изобличал обман и смело распознавал за видимостью сущность. Узрев мрамор, ты автоматически отмечал про себя, что это гипс. Но с тех пор как людям взбрела в голову идея считать, что нынешнее «новое» время требует нового стиля, все прежние навыки и правила, с помощью коих я худо-бедно привык хоть как-то ориентироваться, ни к черту не годятся. Такое чувство, будто нелепый словарный запас некоего диковинного диалекта, который ты с превеликим трудом вызубрил, вдруг одним махом упразднили. К примеру, раньше, когда в предотъездной спешке надо было срочно отыскать в малознакомом городе вокзал, я осматривался по сторонам в поисках кино-театра. Этот метод теперь не работает! То, что прежде путем несложных умозаключений я вычислял как вокзал, теперь оказывается чайным павильоном в здании Дворца спорта! Словом, фасады нового времени сбивают меня с толку.



Неизвестный фотограф. Европа Хаус ночью. 1936 г.

В еще большие затруднения подвергает меня архитектура интерьеров. К тому, что сияющие стерильной белизной операционные палаты – это на самом деле кондитерские, я уже как-то по привычке. Хотя длинные стеклянные палочки по стенам всё еще ошибочно принимаю за термометры. Оказывается, это лампы, или, как нынче принято «грамотно» говорить, светиль-

ники. Столешница толстого стекла предназначена вовсе не для того, как подсказывает здравый смысл, чтобы посетителю во время еды легче было разглядывать под столом собственные штiblеты, а лишь для производства душераздирающего скрипа посредством передвижения по стеклу металлической пепельницы. Посверкивающие лаковой белизной предметы причудливой формы, сработанные из массивных деревянных панелей, но полые внутри, с глубокой выемкой посередке и без ножек, внешним видом более всего напоминают ящики. На этих предметах нынче, оказывается, сидят. Правда, называются они не стульями и не креслами, а «посадочным местом». Впрочем, спутать можно и одушевленные предметы, которые теперь принято обозначать собирательным понятием «персонал». Девушку в красных шароварах, синем сюртуке с золотыми пуговицами и в феске на голове я, полагая себя всё-таки уже достаточно искушенным в подвохах современной стилистики, всенепременно принял бы за мужчину, но по глупости посчитал бы каким-нибудь лейб-гвардейцем из костюмированного фильма – на деле же она оказывается гардеробщицей, попутно торгующей сигаретами и долговязыми шелковыми куклами, которые болтающимися макаронинами конечностей и разухабистой ухмылкой более всего напоминают жизнерадостные трупы висельников.

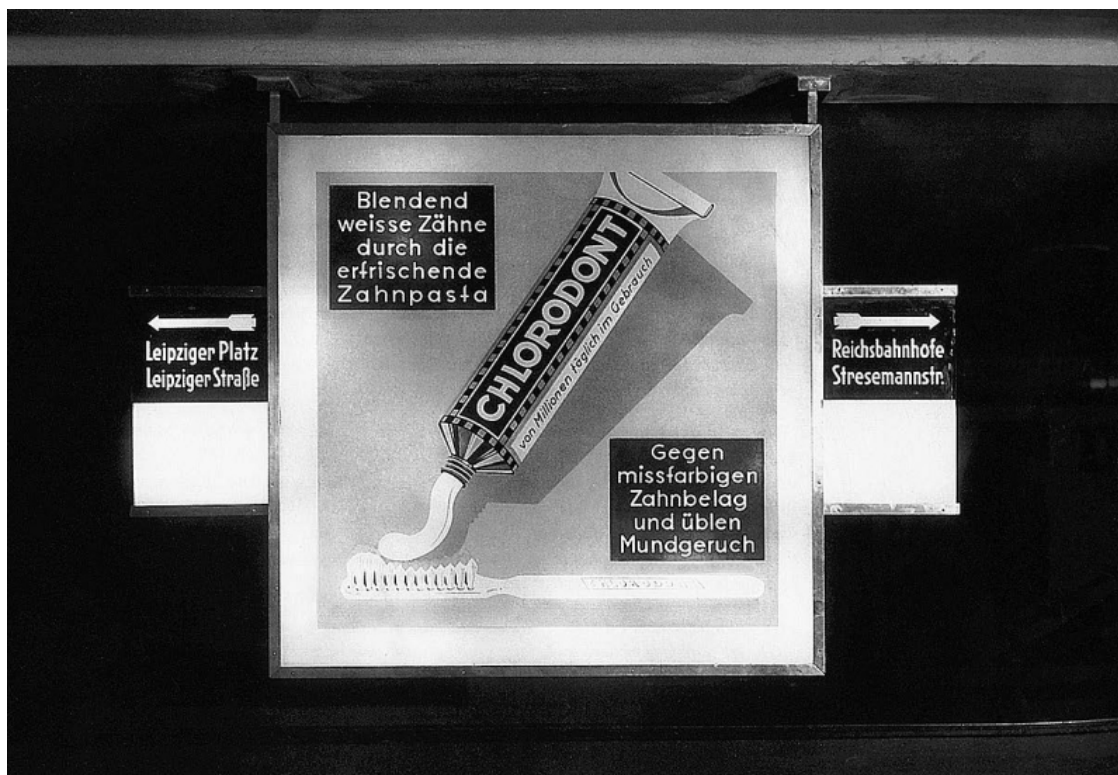
Серьезными опасностями чревата внутренняя архитектура частных апартаментов. Не без ностальгии припоминаю я мягкую, убаюкивающую пурпурно-плюшевую безвкусицу, среди которой человечество бездумно прозябало в своих квартирах каких-нибудь двадцать лет назад. При полной антисанитарии, в стылой сырости и темноте, к тому же, вероятно, среди кишмя кишящих бацилл, но до чего же уютно! А скопище мелких, бессмысленных, дешевых и легко быющихся, но тем тщательнее оберегаемых безделушек на комодке одним своим видом тотчас вызывало у гостя привычное раздражение, мгновенно помогая почувствовать себя как дома. Наперекор садистским требованиям медицины окна были закрыты и наглухо законопачены, так что надоедливый уличный шум не нарушал праздной, никчемной и уютной семейной беседы. Пушистые ковры, тая в дебрях своего ворса разносчиков и зародышей всевозможной заразы, сообщали жизни прелесть, помогая легче переносить даже недуги, по вечерам же аляповатые люстры источали на обитателей мягкий приветливый свет, а вместе с ним, казалось, и само счастье.

Вот до чего безвкусно жили наши родители. Зато дети и внуки ведут ныне удручающе здоровый образ жизни. Столько света и воздуха, сколько предоставляется обитателям нынешних новых домов, едва ли бывает даже на природе. Ателье почти сплошь из стекла – это теперь спальня. Откушивать принято в спортивных залах. Чертоги, где впору оборудовать теннисный корт, служат библиотеками и музыкальными гостиными. Вода течет по тысячам труб. В гигантских аквариумах занимаются гимнастикой. На белых операционных столах отдыхают после обеда. А по вечерам тщательно упрятанные от глаз стеклянные трубочки освещают помещение настолько равномерно, что освещения не замечаешь вовсе. Это уже не комната, а бассейн, где можно купаться в свете.

Münchener Illustrierte Presse, 27.10.1929

Новая стиральная машина

На берлинской Курфюрстендамм – а где же еще? – с недавних пор можно видеть магазин, где покупателю предлагается новая, сверхпрактичная стиральная машина. Обе витрины магазина призваны убедить в этом прохожих. Средства убеждения на сей раз избраны без привычных в таких случаях поучительных обращений к эпизодам всемирной истории, поставленной на службу рекламе и состоящей, если верить, исключительно из достижений прогресса. В соответствии с этим идеалистическим мировоззрением новых времен преимущества всякого нового изобретения, которое надобно поскорее и повыгоднее сбыть, доводятся до нашего сознания таким образом, что в одной из витрин конкретизируются убогая нищета и мучения, с которыми прежде была сопряжена стирка, зато в другой – демонстрируется блаженство, дарованное нам нашей эпохой и новой стиральной машиной. То бишь явлено наглядное доказательство истинного высвобождения, которое принесло человечеству новое патентованное чудо современной техники. Многие прохожие, потрясенные масштабом сопоставления, надолго замирают перед двумя витринами, и нет никакого сомнения, что большинство снова пускаются в путь, унося с собой продуктивную идею немедленно начать экономить, дабы уже вскорости приобрести наконец новую стиральную машину.



Неизвестный фотограф. Реклама в берлинском метро. Около 1928–1933 гг.

Это желание утверждается в сознании прохожих тем сильнее, чем явственнее в оформлении витрины подчеркивается неразрывная связь новой стиральной машины с современным бытовым комфортом вообще; тогда как в соответствии с той же логикой примитивное, чудовищное обыкновение «по старинке» тереть белье на грубой стиральной доске в жестяном корыте с очевидностью влечет за собой погрязание в бедняцком, неудобном и нездоровом образе жизни. Ибо в витрине, демонстрирующей прежний, примитивный и, в сущности, недостойный человека способ освобождения белья от грязи, можно увидеть не только деревянную

бадью, замшелую и чуть ли не покрытую плесенью, – нет! В этой допотопной прачечной всё омерзительно! Ядовитая ржа разъедает железные обручи, которые из последних сил удерживают в своих чахоточных объятиях трухлявые доски. На заднем плане разрисованная декорация показывает нам в высшей степени негигиеничную кухонную утварь, которую явно моют и чистят редко и неправильно, да и развешена она на искусно изображенных ржавых гвоздях с таким устрашающим уродством, что вред ее для здоровья несомненен. Шаткий, неудобный, кособокий стул примостился возле угловатого стирального столика на хотя и чугунных, но расплзающихся, кривых и рахитичных ножках. Вы только гляньте! Вот как в прежние времена, до изобретения новой стиральной машины, прозябало несчастное человечество: денно и ночью горбилось оно над своими жестяными корытами, заскорузлыми руками тщетно оттирая грязь со своего нечистого белья. А если случалось горемычной прачке на минутку присесть, то только на такой вот убогий стул, грозивший ежесекундно развалиться даже под тщедушным весом ее и без того отощавшего тела. И всё это наши дурни предки называли жизнью! По утрам плеснув на свои измученные лица пригоршню кишашей бактериями колодезной воды из убогого умывальника, что еле-еле держится на вон том разболтанном умывальном столике, они ходили вечно грязные и в конце концов умирали от бубонной чумы, чьи бациллы гнездились и размножались в их допотопных бадьях и корытах.

Зато сегодня – с тех пор как изобретена новая стиральная машина, – как нетрудно убедиться, всё стало совсем по-другому: кастрюли сияют серебристым алюминием, светлая кухонная мебель и плита поражают удобством и чистотой, человек здесь уже не сгибается в три погибели, а гордо стоит в полный рост возле сияющего аппарата из нержавеющей стали, управляемого одним грациозным движением руки, одним поворотом послушного рычага, этот человек принимает душ в фарфорово-белоснежной ванне, по три раза на дню меняет чистые рубашки и умирает в конце концов в преклонном возрасте просто от старческой немощи, хотя и этой причине смерти осталось жить от силы несколько десятилетий, ибо современная медицина, несомненно, победит и ее. Земная жизнь возле современной стиральной машины сравнима разве что с существованием в раю, которое в связи с этим за ненадобностью вообще стало весьма сомнительным. Неужели нужны еще какие-то доказательства? Что ж, современная коммерция готова предоставить и их. Опасение, что бытовой реквизит и размалеванные декорации не окажут на прохожих должного воздействия, породило в коммерческих головах гениальную в своей простоте и несомненно американскую идею поместить в витрине рядом с предметами и муляжами живых людей. Ведь, по счастью, антисанитарные старушки времен допотопных стиральных корыт еще не все вымерли. Вот одну такую бабусю и наняли, запихнули в витрину, как некую трижды проклятую Данаиду⁸, и приказали за скудную поденную плату впустую стирать грязные рубашки. Зато в современную витрину определили ее внучку, живую, молоденькую, хорошенькую, беспрерывно манипулирующую кнопками и рычагами стиральную гёрл, в кокетливом колпачке, чулочках искусственного шелка и с маникюром.

И теперь ежедневно, ближе к вечеру, на Курфюрстендамм можно наблюдать этот захватывающий, возвышенный спектакль – видимо, до тех пор пока все потенциальные покупатели не обзаведутся новой стиральной машиной. И ни градостроительный надзор, ни полиция нравов ничего против подобной рекламы не имеют. Это в чистом виде манифестация американского рекламного идеализма, который мало-помалу начинает воодушевлять и Европу и, само собой, отвоевывает себе плацдарм и в Берлине, на Курфюрстендамм, этой столбовой дорожке цивилизации. Полагаю, за отдельную плату он готов, чего доброго, показать нам даже кончину несчастной старушки над ее убогим корытом, а стиральную гёрл заставить исполнять побед-

⁸ Данаиды – дочери ливийского царя Даная. В наказание за совершенные злодеяния были обречены вечно наполнять водой бездонные сосуды. (*Греч. миф.*)

ный танец над трупом родимой бабушки. Это было бы вполне в духе нашего времени и современных способов стирки.

Послесловие:

Когда эти строки уже были написаны, они, к сожалению, утратили наглядность: стиральная гёрл и ее бабушка из витрин на Курфюрстендамм исчезли – скорее всего, лишь на время. Вероятно, они выступают теперь в витринах других магазинов. Ибо предположить, что в современной коммерции происходит улучшение вкусов, невозможно. Улучшаются в наши дни только стиральные машины.

Münchener Neueste Nachrichten, 17.11.1929

Отчий дом

«Отчий дом» – понятие переменчивое. Еще полвека назад, гордясь добротной кладкой, он стоял на незыблемой почве предания, прочная штукатурка сантиментов надежно защищала его стены, а его крыша, несомая солидными стропилами авторитета, мерцая ладной черепицей, попечительным кровом простиралась над подрастающим потомством. Само собой разумелось, что человек появлялся на свет и воспитывался в родительском доме. Молодые люди если и покидали его, то лишь с одной целью – основать свой собственный родительский дом. В итоге на протяжении многих столетий деревни, города, целые отчизны почти сплошь состояли из родительских домов, лишь изредка перемежаемых домами сиротскими. И в каждом таком отчем доме правил отец, заправляла и присматривала мать, в большем или меньшем количестве бузили дети.





Теда Беем. Реклама на улицах Берлина. 1930 г.

Но вот уже несколько десятилетий, особенно после великой войны, отчие дома стоят в этом мире как неприкаянные, этакие открытые всем ветрам словесные каркасы, в которых хоть и полно мебели, коридоров, родителей, детей, солонок и сахарниц, но держится всё это кое-как, скорее, по созвучию лада и уклада, обычая и привычки, а еще по прихоти ленивой силы, которая по недоразумению именуется у нас «традицией». Дети появляются теперь на свет не в родительских опочивальнях, а в просторных, светлых чертогах родильных клиник, где за час сходят с конвейера (чуть ли не выводятся, как птенцы) по несколько младенцев — и у колыбели новорожденного стоит теперь не сказочная волшебница-фея, а лишь сверкающая белоснежной чистотой госпожа гигиена, ангел-хранитель этого мира, благоухающая карболкой, победоносная истребительница бактерий, все зародыши всех болезней уничтожающая в зародыше. И создается впечатление, будто люди, подобным коллективным образом являющиеся на свет, больше не в силах у себя дома чувствовать себя как дома. Кажется, будто их всё время тянет назад, под светлые, просторные, гулкие своды, где их матери корчились в родовых муках, а младенцы пополняли народонаселение толпами, как новобранцы пополняют полки. Уезжая на стремительных автомобилях, улетаая на тархтящих аэропланах, люди торопятся покинуть отчие дома — и потом всю жизнь ищут коллективной смерти в автомобильной или авиакатастрофе, в грандиозных бедствиях, в удушье отравляющих газов — ищут логического коллективного конца своему существованию, начало которому было положено коллективным рождением. Отцы выглядят братьями своим сыновьям, а матери, эти вечные коротко стриженные гёрлз, сестрами своим дочерям. Юность стала умудренной, старость придурковатой. Кажется, будто братья и сестры перестали чувствовать родство материнского лона. (Впрочем, как знать, быть может, их — вопреки всем мерам предосторожности — и впрямь перепутали еще в младенчестве.) Брат брату теперь даже не враг, а просто чужак. И отчие дома постепенно превратились в гостиницы, где равнодушные, чужие друг другу люди просто спят, едят и пьют рядом. Больше того, всё чаще в таких домах каждый платит свою долю в общий кошт, если и дальше так пойдет, то скоро все члены семьи будут еженедельно получать свои счета

за проживание и исправно их оплачивать. Молчаливые, погруженные каждый в свои чаяния и заботы, они иногда еще сжимают за общим столом, отделенные друг от друга стеклянными перегородками взаимной чуждости. Они не любят друг друга, да и знакомы-то лишь мельком. Но нет между ними и ненависти, они просто друг другу в тягость. Отец больше не режет каждому хлеб – еще на кухне, бездушно, словно пилой дрова, хлеб за него разделило на всех новомодное приспособление, сильно смахивающее на гильотину. И сдается, будто отцы, с тех пор как они перестали произносить перед трапезой молитву и преломлять хлеб, перестали быть и хозяевами в своих домах. А когда пытаются ими стать, превращаются в смешных домашних тиранов, чтобы фигурировать на сцене в пьесах смешных драматургов или под руками психоаналитиков, этих вещунов нашей эпохи, превратиться в набор так называемых комплексов. Лишь изредка в заброшенных глухих деревнях еще можно зайти в дом, где крестьянин по старинке сидит во главе стола в окружении своих чад и домочадцев. Когда он молчит – все молчат, когда он говорит – все слушают. Сыновья и дочери его боятся. Быть может, они его вдобавок и ненавидят, но даже ненависть эта полезна и плодотворна, ибо исполнена уважения и в любой миг может обернуться любовью, да-да, зачастую эта ненависть всего лишь заместительница любви, которую отец намеренно не позволяет выказать, чтобы не «расслаблять» всё семейство. Есть что-то величественное и возвышенное в этой чистой, безмолвной, неприкрытой ненависти, иногда она даже угодна природному порядку вещей. Над таким отчим домом крыша покоится столь же естественно, как небосвод над землей. Но подобных домов, как уже было сказано, почти не осталось. А значит, рассуждать о них так, будто они и вправду еще существуют на свете, – всё равно что глумиться над ними. Куда уместнее поразмыслить о коллективных домах, контуры которых уже проступают из дымки будущего, хотя неизвестно, будут ли они хороши. При живых родителях дети в них будут оставаться сиротами. При живых мужьях жены будут оставаться вдовами. У отцов будут сыновья и дочери, но отец будет им не отцом, а всего лишь тем, кто их зачал. И будут братья у братьев, и сестры у сестер, но все, все они будут одиноки. Отчаянно, безысходно одиноки, как это бывает с человеком лишь в сообществе себе подобных...

Das Tagebuch, 22.03.1930

Часть 2

Судьбы города

Вокруг колонны Победы

Небо уже подкрасило свою голубизну, словно надумало сходить к фотографу, мартовское солнце смотрит ласково и дружелюбно. Колонна Победы, стройная и нагая, вздымается в небесную лазурь, как будто принимает солнечную ванну. Как и все выдающиеся персоны, истинную популярность и всенародную любовь она снискала лишь теперь, став жертвой неудавшегося покушения⁹.

А ведь долгие годы она была довольно одинока. Разве что уличные фотографы с их ходульными треногами иной раз пользовались ею как фоном, дабы увековечить бессмысленный смех подловленных простофиль-прохожих. Она была безделушкой немецкой истории, сувенирной открыткой для приезжих, объектом экскурсий для школьников. Нормальный взрослый местный житель не взбирался на нее никогда.

Зато теперь, в полуденный час, две-три сотни берлинцев толпятся вокруг колонны Победы, вдыхая дымок едва не состоявшейся сенсации и упиваясь политическими диспутами.

Я, к примеру, совершенно уверен, что вон тот господин в плаще-накидке и широкополой шляпе, напоминающей гигантский гриб, что вырос в самых непроходимых дебрях Тиргартена, – это тихий кабинетный ученый, изучающий, допустим, кристаллизацию кварцев. Вот уже четверть века он каждый день выходит прогуляться по одной и той же аллее, туда и обратно, с неукоснительностью латунного маятника в стенных часах, чтобы потом немедленно отправиться домой. Но сегодня, смотрите-ка, он прошел свой обычный маршрут лишь в один конец, чтобы затем отправиться к колонне Победы. И теперь с большим интересом слушает, как какой-то коротышка, держа в одной руке шляпу, а другой отирая свою вспотевшую лысину носовым платком с трогательной голубой каемочкой, рассуждает о пикриновой кислоте.

Не знаю, имеет ли именно пикриновая кислота хоть какое-то отношение к кристаллизации кварцев. Как бы там ни было, интерес ученого к этому веществу поистине неисчерпаем.

– Динамит, – доносится до меня, – чрезвычайно опасен. Динамитом туннели взрывают. А картонная коробка еще больше эту его опасность усугубляет, потому что образует замкнутое пространство.

– Да как же они этот запальный шнур сразу не учуяли! – изумляется некая дамочка. – У себя дома я малейший запах гари тотчас же слышу. – И дама демонстративно нюхает воздух, словно и сегодня еще способна уловить рассеявшийся вчера дымок запального шнура. Окружающие женщины принимают вместе с ней и с готовностью соглашаются: ну конечно!

– А что это за штука такая, этот ваш бигрин? – вопрошает здоровенный детина рядом со мной. Лицо его розовеет похмельным полуденным румянцем, словно с высоты своего роста он уже узрел альпийский закат. И говорит он о бигрине с таким неподдельно задорным интересом, будто это некое новое всенародное увеселение.

⁹ В марте 1921 года неизвестными лицами была предпринята попытка взорвать колонну Победы – монумент воинской славы Пруссии, воздвигнутый в 1875 году перед зданием Рейхстага и впоследствии (в 1938 году, в ходе перестройки центральной части города) перенесенный на площадь Большой Звезды в центре парка Тиргартен. В полости колонны на высоте примерно десять метров была обнаружена картонная коробка с шестикилограммовым зарядом динамита и пикриновой кислоты. Взрыв был предотвращен благодаря оперативным действиям двух полицейских, успевших перерезать уже дымившийся запальный шнур.

«Национально мыслящий» немец полагает, что это всё дело рук коммунистов. Случившийся тут же коммунист подозревает как раз националистов. Возникшие идейные разногласия разгораются всё сильнее, и запальный шнур партийно-политической свары распространяет вокруг себя чадное зловоние.

А колонна Победы, беззаботная и ни о чем не ведающая, тем временем гордо и прямоухонько возносится ввысь, радуясь, что доступ к ней наконец-то закрыт для всех посетителей.

Я лично нисколько не сомневаюсь: взберись сейчас кто-нибудь на колонну Победы, он непременно услышал бы, как Господь Бог на чем свет стоит костерит глупость всего рода людского, что живет партийными распрями и гибнет от пикриновой кислоты.

Neue Berliner Zeitung, 15.03.1921

Парк Шиллера

Парк Шиллера открывается взгляду внезапно, в северной части города, словно неожиданная драгоценность среди будничной заурядности и бедноты берлинского севера. Это парк в изгнании. Кажется, будто когда-то он обретался на фешенебельном берлинском западе, а потом, по случаю изгнания на север, его лишили главных парковых украшений – пруда с благородными лебедями и будки метеостанции с барометром и солнечными часами.

Но ему милостиво оставили плакучие ивы и его свиту, парковых смотрителей. Это молчаливые и, вероятно, очень добросердечные люди, поскольку работа их не разъедает душу. Они, пожалуй, являют собой единственную на этом свете безобидную полицию – словно предупредительные таблички, ожившие по воле Господа и городского магистрата и от скуки покинувшие свои раз и навсегда распределенные позиции, они блуждают теперь по аллеям парка. На их лицах всё еще виднеется поблекший призыв: «Граждане, берегите зеленые насаждения!» – а ивовые прутья у них в руках – что-то вроде пружинистых и ласковых восклицательных знаков к этой надписи. Парковые смотрители, кстати, единственные живые существа, которым разрешается здесь ходить по газонам.



Неизвестный фотограф. Автобусы на Унтер ден Линден. Около 1925 г.

Хотел бы я знать, чем занимаются парковые смотрители зимой. Ибо почти невозможно помыслить, что они когда-либо покидают вверенную им территорию и коротают зиму в кухонном тепле среди жен и детишек. Наверное, они укутываются в тряпье и солому, а прохожие принимают их за кусты роз. А может, за мраморную фауну или бронзовых фонтанных ангелочков. Либо они зарываются на зиму в землю, а по весне всходят вместе с примулами и первыми фиалками. Как они, наподобие лесных обитателей, кормятся ягодами шиповника, я видел собственными глазами. Когда их о чем-то спрашиваешь, они, прежде чем ответить, погружаются

в раздумье. Они всегда словно укутаны в кокон одиночества, под стать могильщикам и смотрителям маяков...



Эмиль Отто Хоппе. Шпрее. Вид на мост Обербаумбрюкке. 1925 г.

Люди, живущие поблизости от Парка Шиллера, каждое утро раным-рано уходят на работу. Вот почему здесь по утрам так безлюдно, словно вход в парк вообще запрещен. В пустынных, будто заповедных, парковых угодьях встретишь разве что уныло плетущегося безработного.

Или двух девчонок, лет семнадцати, влюбленных в природу, мечтательно бредущих по аллее. Они словно две березки, которым вздумалось прогуляться. Настоящие же березки накрепко вросли корнями в землю и способны лишь изгибать тонкий стан.

Детишки приходят сюда уже после трех с лопатками, совками и мамашами. Мамаш они оставляют на широких белых скамейках, а сами топают к песочнице.

Господь сотворил песок исключительно для малышей, дабы они в мудром бескорыстии игры воспроизводили суть и смысл всякой людской деятельности. Они засыпают песком свои ведерки в одном месте и тащат в другое, чтобы там высыпать. На смену им приходят другие малыши, чтобы из образовавшейся горки загрузить в ведро песок и отнести на прежнее место.

Такова жизнь.

Зато плакучие ивы напоминают о смерти.

Они несколько пышноваты и экзальтированы, всё еще сочно зеленые среди осеннего лиственного пестроцветья, и в патетике их есть что-то человеческое. Их, плакучие ивы, Господь сотворил не сразу, а только когда решился сделать людей смертными. Они в известном смысле древесные существа второго порядка, флора с интеллектом и безусловным чувством ритуала.

И в Парке Шиллера листва по-осеннему опадает с деревьев, но не остается на земле. Это не то, что в парк Тиргартен, где достойный жалости посетитель вынужден пробираться по густому лиственному ковру чуть ли не вброд. Производя при этом весьма поэтичный шорох

и отягощая душу унынием. В Парке Шиллера предприимчивые аборигены Веддинга¹⁰ кропотливо собирают листву каждый вечер, сушат ее и отапливают ею зимой свои жилища.

Шуршание листвы – роскошь; когда нет центрального отопления, поэзия палой листвы противна природе.

Плоды шиповника напоминают маленькие, пузатые бутылочки ликера, словно разбросанные здесь в рекламных целях. Они падают с кустов совершенно бесплатно, а детишки их подбирают. Парковые смотрители наблюдают за этим с эпическим спокойствием. Поистине испытываешь доверие к Создателю, который кормит смотрителей плодами деревьев своих и даже одевает их в форменные береты городского магистрата.

Berliner Börsen-Courier, 23.10.1923

¹⁰ Веддинг – пролетарский северный район Берлина.

Месяц май

Несокрушимая традиция вот уже несколько столетий узаконивает сентиментальную связь между непрекаемым и деловито-сухим наступлением календарного срока – и пробуждением странной умиленности в человеческих сердцах. А ведь чувства человеческие весьма редко – как в данном случае – подчиняются прихотям всеисчисляющего разума. (Тут впору и впрямь поверить, будто природа на самом-то деле живет по законам математики.) Всевластие этого месяца открываются эмоциональные поры даже самых черствых людских особей, наглухо закованных в броню практических соображений. Неодолимо очарованию майской лирики не способен противостоять никто. Вера во всемогущество этого месяца неистребимо гнездится даже в самой холодной и расчетливой груди.

В его наименование наш язык вложил всю доступную ему нежность: мягкое, трепетное смыкание губ, за которым – высвобождающим дифтонгом – следует ликующий, почти первобытный вскрик ликования. Это имя-возглас доступно даже грудным младенцам. Оно роднит изборожденные страданием и болью старческие уста с беззаботно лопочущими губками невинного дитяти.

Однако голод превращает ландыши в подножный корм. Поэты вслушиваются в соловьиные трели в надежде поживиться отнюдь не мелодией. Грабители пышным цветом процветают в кущах парка Тиргартен. Охочие до эротических приключений горожане ищут случая насладиться любовью в кустах... В тридцать одном майском дне как будто спрессовано всё блаженство мира. Радость жизни, безжалостно отнятая у всех остальных одиннадцати месяцев-пасынков, льготно рассыпана по этим четырем неделям. Все пьянящие душу флюиды весны роятся в одном заповедном отсеке грегорианского календаря.

А происходит в этот месяц всего лишь неоднократно воспетое лириками пробуждение природы, которой, как известно, ведают аграрии, время от времени великодушно и совершенно бесплатно предоставляя оную всем прочим смертным для прогулок и пикников.

Солнце, это радикально социалистически настроенное небесное светило, пока что, как ни странно, еще не заграбастано в собственность каким-нибудь небесным магнатом, а по-прежнему светит всем людям поровну, с одинаковым пылом согревая и впалые щеки голодного, и толстое пузо сытого.



Теда Беэм. Реклама на улицах Берлина. 1930 г.

К числу бесплатных объектов всё еще принадлежат пресловутые весенние облака, а также «ласковые майские дуновения», которыми так любят пользоваться поэты, равно как и голубое небо, за которым с прежним упорством прячется Господь, дабы без помех удовлетворять ходатайства особо набожных граждан. Так называемые перелетные птицы, живые воплощения человеческой тоски, всё еще возвращаются с юга, неисправимые в своем стремлении к пере-

летам, всё еще подчиняясь непостижимой тяге к нашей старушке Европе, которая, если подумать, нисколько им не нужна. Власть обычая и инстинкта столь неодолима в племени этих пернатых созданий, что они не замечают ни конференций Лиги Наций, ни редакций газет, ни товарных бирж и всех прочих радостей европейской культуры и в своем ликующем неведении безмятежно щебечут даже там, где людям остается только плакать. (Мне довелось однажды в майский рассветный час присутствовать при исполнении смертного приговора – а в светлеющем небе заливались жаворонки.) Эти неразумные птицы щебечут даже в Берлинской аллее Победы¹¹.

На фабриках и в конторах окна распахнуты настежь, подневольным работникам дозволено вкушать весеннего воздуха на рабочем месте, в границах отведенной по санитарной норме площади в столько-то квадратных метров. Тогда как свободное, вне всяких норм и ограничений, пользование «ласковыми дуновениями» даровано лишь избранным и безработным. Первые оно услаждает, вторые от такого счастья с непривычки иной раз могут и помереть. Ибо вкушать счастье полными глотками дано не каждому. Иные, повторюсь, от таких трапез умирают, ведь радость без еды впрок не идет.

И только избранные баловни судьбы живут, словно цветик на опушке или рыба в воде; лишь для них растут костюмы в ателье и булки в поле, вкушаемые регулярно, как прописал семейный доктор.

Lachen links, 09.05.1924

¹¹ Помпезная аллея воинской славы со скульптурами германских кайзеров и курфюрстов, заложенная в 1895 году.

В канцеляриях

Если мне захотелось поехать за границу, надо отправляться по канцеляриям, а их много, этих серых зданий, серо-белых кабинетов, где за письменными столами или за окошечками сидят служащие, это мужчины в потертых костюмах, с кислыми физиономиями, усатые или плешивые, с пробором или в очках, с синими карандашами в нагрудных карманах – у них бедный вид, у этих мужчин и у этих канцелярий. Я торчу возле чиновничьих письменных столов, вижу красные, синие, фиолетовые штемпельные подушечки, обгрызенные перьевые ручки, следы прикуса на коричневых канцелярских карандашах, старые фотографии, отрывные календари с ошметками минувших дней, этими клочками бумаги, махрящимися в жестяном переплете обглодками, оставленными зубьями времени, которое каждое утро, на завтрак, съедает очередную дату. Я бреду по коридорам, неправдоподобно нескончаемым, словно во сне, мимо ожидающих посетителей – кто опирается на зонтик, кто читает газету. Иногда открывается дверь, и мой взгляд успевает на секунду проникнуть в кабинет, где сидит господин чиновник, стоит письменный стол, висит календарь, в точности как в том кабинете, куда я вскорости войду, хотя на двери этого красуется номер 24, а на том – уже 64. Две мухи жужжат в окне, снова и снова с ожесточением бьются в стекло своими черными тельцами, а третья уселась на чернильнице и трет тонкими лапками себе носик. В чернильнице густеют чернила, покрываясь по краям черно-синей корочкой – это словно высохшие цифры, повестки, уведомления, акты...

Ближе к двери сидит чиновник помоложе, в глубине кабинета – пожилой. Тот, что помоложе, – почти белесый блондин, с симпатичными, задорными вихрами, которые ни за что не хотят укладываться в пробор, нос пуговичкой, подбородок с ямочкой, ротик бантиком, совсем как у девушки. С лица его еще не вполне сошло детское выражение, добрые голубые глаза силятся изображать строгость, как у мальчишек, когда они играют в войну или в казаков-разбойников. И пальчики у него совсем еще детские, пухлые, немужественные, но на одном уже обручальное кольцо. И жилетка заметно округлилась, порукой будущей карьеры выдавая под собой животик. Портфель у него еще новый, нежные руки молодой жены заботливо уложили туда обеденные бутерброды, на губах его еще играет полусонная утренняя нега, он любезен, деловит, мягок, даже отпускает милую, вполне деликатную остроту, явно побуждая меня, «посетителя», вступить с ним в шуточный диалог. Он – человек за барьером. Эта разделяющая нас перегородка сейчас как бы исчезла, разрушена, и он смотрит на меня с тоской человека на необитаемом острове, благодарный мне от всего сердца. Он – словно вошедший в присказки начальник станции, мимо которого каждый день с грохотом проносится курьерский, я для него такая же таинственная диковина, как этот курьерский поезд, никогда не останавливающийся на его полустанке. Этот молодой служивый очень хотел бы меня еще задержать, ему так охота разузнать, каково живется во всех тех странах, где я уже побывал и куда опять направляюсь. Но он желал бы узнать не только о странах. Еще молодой человек просто хочет поговорить по душам, он еще мой сородич, он еще вполне несчастлив за этим постылым канцелярским столом, еще не начал жевать карандаши и еще предается самым дерзким мечтаниям. Он еще не утратил святую веру в невозможное и полон решимости рано или поздно навсегда покинуть стены этого кабинета и, наконец-то при деньгах, вальяжно путешествовать в курьерских и даже повидать Фудзияму.

Но когда я лет двадцать спустя войду в этот же кабинет, он встретит меня вон тем пожилым господином, который сидит в глубине комнаты и изучает меня недоверчивым взглядом поверх очков, – пожилым господином с неухоженной лысиной, с которой шелушится на плечи перхоть. Новые чернила по краям чернильницы покроются корочкой, и двухсотое поколение

мух, жужжа, будет биться в те же стекла. И он – даже подумать страшно – будет жевать карандаш.

Prager Tagblatt, 20.07.1924

Берлинское новогодье и последующие дни

Новогодняя ночь прошла громко, пестро и весело. Веселье было просто хоть куда. Все, наблюдавшие за событиями по долгу службы, в один голос сообщают, что эта новогодняя ночь имела все признаки мирного новогоднего праздника. Так что если начало года и впрямь знаменует его характер, то год нас ожидает мирный. Все традиционные «шутки», «сюрпризы» и розыгрыши, которыми принято в эти дни ошарашивать родных, близких и просто знакомых, на сей раз носили весьма доброжелательный характер. Некоторые, впрочем, и начало нового года ознаменовали дракой. Примечательно, однако, что на бранном поле новогоднего торжества на сей раз не осталось ни одного тяжело раненного. До настоящих побоищ дело не дошло. Словом, Берлин было не узнать.



Неизвестный фотограф. Вечером на Унтер ден Линден, напротив кафе «Кранцлер». Около 1930 г.

За исключением прокуроров и блюстителей порядка, всё еще занятых расследованием скандальных афер в Госбанке¹², никто не таил злобу в сердце. Остальные предпочли оставить

¹² В этой статье Рот в нескольких местах намекает на громкий коррупционный скандал, разразившийся в Германии в пер-

старые грешки в прошлом, как просроченные карманные календарики. Те же, кто с тяжко заработанного хлеба перебивается на горький от пролитых слез квас, тешили себя злорадством по случаю того, что кое-кто из толстосумов на сей раз вынужден встречать Новый год в следственном застенке, вместо того чтобы праздновать его на воле. Многих представителей среднего сословия можно было наблюдать в салонах собственных автомобилей, хотя все важнейшие линии общественного транспорта для удобства населения работали всю ночь. Впервые за долгое время наблюдалось нечто вроде покупательского ажиотажа. Стабильность отечественной валюты радовала истосковавшиеся по ней души. Всё-таки при мысли о том, что марка перестала падать, голодать как-то легче. Личный упадок не так горек при виде отчизны, поднимающейся с колен. Ходят легенды, что на сей раз даже жильцы снесенных домов – и те радовались.

Я посетил три новогодних бала: бал для важной публики на западе города, бал художников и, на северной окраине, бал для пролетариев, которые мечтают стать мелкими буржуа, вследствие чего уже ими стали. Внешне средства развлечения всюду были одинаковые: бумажные ленты, конфетти, входные билеты и плохое вино. На севере среди туалетов преобладали темно-синие уличные костюмы и накрахмаленные воскресные платья. У художников в чести были взятые напрокат смокинги. Женщины везде были прекрасны и взыскательны, и только на севере они были прекрасны и скромны. Взыскательность набивает цену женской красоте. На севере попадались пьяные. На западе – подвыпившие. Ибо богатство снижает действие алкоголя, благо употребляется он чаще. У художников были даже захмелевшие в доску. Вот оно, веселье истинного искусства, о котором говорил великий поэт¹³

вые дни 1925 года, когда по обвинению в мошенничестве и коррупции были арестованы глава концерна «Амексима» Юлиус Бармат и трое его братьев (все украинско-еврейского происхождения), а также несколько ведущих менеджеров Госбанка. В операции, проведенной с большой помпой, были задействованы более сотни полицейских и даже пограничные службы, были проведены обыски в главном офисе концерна, на вилле Бармата, в берлинских квартирах его братьев, на квартирах банковских служащих. По мере продвижения расследования, начало которому положил еще в ноябре 1924 года арест (тогда, впрочем, почти не замеченный журналистами) Ивана Куцикера, предпринимателя и банкира литовско-еврейского происхождения, выявлялись всё более масштабные коррупционные схемы выдачи кредитов, приведшие к утрате Госбанком многомиллионных сумм, в связи с чем пресса (особенно националистическая) всю трубила о продажности государственных учреждений, якобы скупленных на корню восточным еврейством.

¹³ Имеется в виду пролог к драматической трилогии Шиллера «Валленштейн»: «Серьезна жизнь, но весело искусство».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.